



**НИНА ПИПАРИ
СНЫ,
ЦВЕТЫ
И ЖИВОТНЫЕ**

18+

Нина Пипари

СНЫ, ЦВЕТЫ И ЖИВОТНЫЕ

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42600351

SelfPub; 2020

Аннотация

Литературный эскапизм в лёгкой форме для тех, кто не принимает этот мир за чистую монету. И потому нередко уступает очарованию всего, что подвернется. Для тех, кто считает, что цветы жизни – это именно цветы. И, пожалуй, животные. И особенно – сны.

Содержание

Предисловие	4
Огненный цветок	6
Берег южный	12
Всё повторяется	19
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Нина Пипари

СНЫ, ЦВЕТЫ И ЖИВОТНЫЕ

Предисловие

Определений для слова «жизнь» – бездна.

Для меня, если брать его самый земной, самый пришвартованный смысл, жизнь – это бегство от *не-жизни*. *Не-жизнь* в себя включает большую часть происходящего с человеком: рабочие часы, потребление широкого профиля (от еды до памятников культуры), болтовню, заполняющую оставшиеся пустоты (у неё могут быть самые широкие функции и полномочия, но жизни в ней нет).

Я бегу от *не-жизни* самыми легальными способами: сновидениями в первую очередь. Сны и будни – это как полнометражное авторское (иногда даже культовое) кино и сериалы (неважно какие: бразильские или мудрёные). Кино – это каждый раз «ах», это история без продолжения. В общем, сны – это хорошее кино, пропалывающее один и тот же сериал, который почему-то именуется жизнью.

Одних заносит в чужие сны, другие просыпаются в посторонней яви, и иногда это оживляет, иногда – это мука длинной в эту чужеродную явь. А третьи жить начинают только после смерти.

Животные и цветы – это отдельная история и уж точно не из мёртвого царства *не-жизни*. И не удивительно, что они совершенно к нам равнодушны и, может быть, брезгливы. Уж больно от нас разит мертвечиной.

Вдохновившись первыми, вторыми и третьими, я написала рассказы. Выяснилось, что они отлично укладываются в сборник «Сны, цветы и животные».

Между ними – немного бегства от жизни. И, конечно, смерть как одновременно последний рубеж *не-жизни* и последнее же средство от неё.

Огненный цветок

Я индеец. Не по национальности – а просто. Сколько помню, меня всегда так называли. Да и вы бы меня так назвали, возможно, это показалось бы вам даже забавным. Может быть, вы даже захотели бы рассказать об этом своим друзьям в баре. Но это неважно. Сегодня случилось то, чего я ждал всю свою жизнь.

Я работаю в цветочном магазине. Всего пять слов – но для меня в них кроется смысл мироздания. Иногда я повторяю эти слова просто так, про себя, поливая гордое, неприступное алое или переставляя к свету привередливую орхидею. Почему нет? В них больше смысла, чем во всей болтовне наших продавщиц.

Сначала меня не хотели брать сюда. «Чего доброго цветы от такой красоты завянут», – пошутила заведующая, мясистый тюльпан, когда я пришел сюда наниматься. Но я стоял на своем, и меня взяли.

На самом деле, я работаю в волшебном Саду, просто никто об этом не знает. Но прежде чем вы это поймете, я расскажу вам секрет.

Все женщины похожи на цветы, они и есть цветы. Вернее, цветок растет у них внутри – у каждой свой – только они об этом не знают. Едва они входят в Сад, я тут же могу узнать их по запаху: нежный крокус, благородная лилия или под-

заборная ромашка. Каждая по-своему хороша. Почему они приходят в Сад? Думаю, их приводит их цветок, когда хочет ненадолго оказаться в безопасном месте, прийти в себя.

Ещё по их аромату я безошибочно понимаю, счастливы они или нет. Женщина стареет, когда увядает цветок внутри неё. Его аромат, такой отчетливый, начинает терять свой контур, расплывается, сливается с другими, растворяется в общем запахе. Как звуки сливаются в общий гул. Вот и наши продавщицы – когда-то это были два нежных крокуса и один дородный гиацинт – но это в прошлом, аромат расплылся. А когда они ссорятся, его почти нет.

Так вот женщины. Они приходят сюда и всегда покупают то, что им советуют наши продавщицы и что им совершенно не подходит. Почему я никогда не говорю им об этом, почему никогда не посоветую нужный цветок? Думаю, они бы приняли меня за дурачка.

Иногда я не возвращаюсь домой и до рассвета брожу по Саду, пока ещё спят попугаи и крикливые канарейки. Пока здесь царит тишина, пока нет ни единого запаха. Лишь напряженная тьма, которая затем сменяется душным серым полумраком и, наконец, разрывается ярким, золотым рассветом. И вот в эти предутренние часы я вдруг ясно понимаю, что весь мир – это Сад. Я отчетливо вижу, как расправляет нежные лепестки цветок в каждой женщине, как все вокруг неё наполняется неземным благоуханием – и так хочется мне

сохранить их такими. Для них и для всех нас. Для мира.

Но сохранить их нельзя. Каждый день, едва проснувшись, они принимаются разрушать свой цветок – и от этого мне хочется разрушить этот мир. Просто потому, что так не должно быть. Потому, что видеть это невыносимо больно. В такие минуты мир и Сад, цветы в Саду и цветы в женщинах – всё спутывается. И, кажется, достаточно уничтожить Сад, чтобы мир исчез.

Прямо сейчас, пока цветы ещё спят и не чувствуют боли.

Но приходит утро, начинается рабочий день и всё продолжается заново. За дневной суетой притупляется боль, и до следующей ночи я откладываю свой замысел.

Но сегодня всё изменилось.

Забыл сказать, почему я индеец. Это из-за моего лица, «лишённого всяческого выражения», как сказала одна воспитательница, уже не помню, где и зачем. Так и пошло. В детском саду и в школе – все звали меня индейцем. Особое удовольствие дразнить меня доставляло моим одноклассницам – хрупким, большеглазым фиалкам. Так называла меня мама, когда её сердило мое «вечное молчание».

В Саду меня тоже так звали. Меня называли так все. Поэтому когда *она* спросила, как меня зовут, я запнулся. Тогда она спросила, как зовут растение, перед которым мы стояли, но я и это забыл. Зато я сказал ей то, чего давно не говорил никому. Я сказал, что это растение ей не подходит. И она

спросила, а какое растение ей подходит? И я ответил, вам подойдет цветок, но я пока не знаю, какой.

Она появилась в Саду впервые с месяц тому, и потом стала приходить часто, иногда каждый день. Всегда в сопровождении мамы – калы-пустомели – или сестры, подавленной, гордой астры. Они всегда покупали растения, и никогда – цветы. Высокая, собранная, неторопливая. Она долго ходила по Саду, приглядываясь то к одному, то к другому. Потом подходила к кассе, и ей там что-то заворачивали. У неё, наверное, был свой сад.

Я никак не мог разглядеть её Цветка – это был сгусток неясного, приглушенного запаха, укутанный в кокон. Каждый раз, когда она приходила, я разглядывал его, но ничего не видел. И вот в тот миг, когда она спросила, как меня зовут, я увидел. Её цветок был огненным. Но он не то потух, не то уснул, как бывает с вулканами. Огненный цветок, который не может жить для себя, который не имеет аромата, но он единственный способен, как факел, освещать другим путь и оживлять всё вокруг во имя каких-то очень больших, особенных целей.

Вечером я не пошел домой. И не остался в Саду. Я сделал то, чего не делал очень давно, чего всегда боялся.

Я выбрался из своей окраины и поехал в центр Города, где все запахи слиты, где все цветы обречены. Где все законы давно не работают: и старушки пылают изнутри сухими

яркими цветами, а юные девушки куда-то бегут, не зная, что их Цветок давно завял и корни у него гнилые.

Я ехал мимо и думал: вот они ищут цветок папоротника. И не знают, что заветное счастье – найти огненный цветок. Был тёплый вечер, потом была тёплая ночь. А я всё бродил по городу и не мог поверить, что совсем скоро я снова увижу её и скажу, какой редкий, какой удивительный цветок в ней растёт. И как важно, чтобы он проснулся и озарил всё вокруг.

Я возвращался домой на рассвете и думал о всякой ерунде. О том, как днём моя комната медленно плывет в кленовом лесу. Равнодушно покачиваются гладкие листья, словно это сотни ладоней, машущих на прощание кому-то. И я машу им в ответ. О том, как я брожу в Саду по клубящимся солнечной пылью проходам, слегка соприкасаясь с бархатными лепестками роз или задевая сердитые алоэ. О том, что клёны – умные деревья. А берёзы – глупые, взбалмошные, ветреные. А клёны никогда не шумят просто так.

Время и дорога пролетели незаметно. Я вошел в Сад и стал готовиться к встрече.

В тот день она не пришла. И не пришла больше ни разу. Мне хотелось думать, что произошло что-то значительное. Что она разорвала все цепи, рассталась с семьей и открыла в себе свой Огненный цветок. Или что её упекли в жёлтый дом, откуда она вышла обновленной и всё-таки сбе-

жала на край земли, воспитывать армию властительниц Огненных цветков. Все большие, красивые сценарии.

Но это не важно. Важно, что теперь я знаю – они где-то есть, Огненные цветы. И настанет день, когда все они вспыхнут ярким пламенем. Чтобы не дать другим цветам забыть о своем предназначении. Я верю.

Берег южный

Я никогда не любила и не понимала фотоискусство. К стыду моих друзей. К счастью, это люди воспитанные и деликатные. Они охотно трактуют мою невосприимчивость к фотографии как лёгкое отклонение от нормы. Вроде сросшихся на ногах пальцев или косоглазия.

Но сегодня всё изменилось. Я с неожиданным для себя рвением стала доказывать, что простой любительский снимок, сделанный рукой дилетанта, может по силе воздействия превзойти любую профессиональную работу.

Друзья не стали спорить, деликатно пропустив мимо ушей мою громкую тираду. Так люди переходят на другую сторону дороги, завидев на своем пути калеку или что-то другое, способное испортить променад.

Обычно в таких случаях мы переводим разговор на более безопасные рельсы – вроде кулинарии или старого кино – по которым он движется ровным резвым составом, цепляя по дороге всё новые и сплошь покладистые темы-вагонетки, и прибывает к концу вечера, свежий и готовый к новой поездке по изученному кольцу. И мы расходимся по домам, укачанные его гладким ходом и втайне довольные возможностью оставить весь этот груз в гостях и вернуться домой налегке.

Но сегодня я разволновалась, раскричалась и постыдно

расплакалась, так и не сумев вложить в слова своё чувство. И вот, несущая наш разговор за пазухой, чувствуя, как он то покалывает, то прожигает насквозь, совсем как тот снимок, из-за которого разгорелся наш спор.

Но всё по порядку.

У меня небольшая арт-студия в самом центре арт-городка, в небольшом кирпичном домике с выходом на крышу – подарок родителей на окончание университета. Мы продаем всякую всячину, сделанную руками. Вырученные деньги, естественно, идут на благотворительность. Кое-что я делаю сама, но творческий зуд докучает мне крайне редко, и в основном моя работа сводится к простому: приехать, поздороваться, пройтись туда и обратно, поведать соседей, торгующих творческим досугом в ассортименте.

Здесь вместе с другими молодыми людьми, балансирующими на пороге зрелости и почти свернувшими себе шею, оглядываясь на юность, я рисую фломастерами, учусь познавать себя через подражание певчим птицам, сочинять оригинальные подложки для авторского кино и сотне других способов убить время с эффектом полезности. По вечерам я пускаю на террасу поиграть очередных музыкальных самородков. Еду домой.

Живу как есть. Как все. Всё больше побаиваюсь бега времени, но едва освобождается свободная минутка, начинаю нервничать и искать, как и чем бы её заполнить.

От унижительных этих поисков мои друзья, люди повы-

шенной гражданской ответственности, надёжно застрахованы фотоаппаратом. Из поездок они привозят исключительно фотографии. На снимках всё больше беспризорные дети, испуганные, с затравленными выпуклыми глазами. Но кажется, что напуганы они только тем, что незнакомые дяди и тети требуют от них стоять неподвижно и смотреть естественно.

Мне фотографий не привозят. Вместо этого я получаю безделицы из дьюти-фри и приглашение на домашний творческий вечер. Вот на одном из них мне и вспомнился тот снимок, из-за которого я разругалась со своими друзьями.

На фотографии были засняты счастливые лица двух подростков, едва ступивших в юность. Они стояли, прижавшись друг к другу щеками, на излёте улицы, взмывавшей вверх так резко, так радостно, что, казалось, это и есть заветная дорога в небо.

Я помню её очень хорошо, эту дорогу, она и сейчас не утратила своего очарования. Но на снимке этот эффект был усилен стократ и, более того, приобрел новое качество: чем дольше ты смотрел на него, тем живее было чувство, что там, за трамплином, увешанным дрожащими огнями фар, лежит вечернее летнее море.

Хотя всё кричало против этого: и то, что на снимке ещё только начинало смеркаться, и что торчащая в кадре ветка каштана была безнадежно голой и узловатой, и посиневшие носы позирующих, и – сильнее всего – то, что ты знал эту улицу как свои пять пальцев, вдоль и поперек, знал – уже по-

что тридцать лет – что, перемахнув лихой волной через гребень холма, она вливается, скромно и покато, в деловитый проспект. Совсем как буйные, непокорные подростки спускаются, стреноженные, в смиренный мир взрослых.

И всё равно там было море. И они – шли к морю. В их глазах читалось нетерпение и отрешённость человека, который хоть и рад вам, но сам уже не здесь, а там, где его ждет кто-то или что-то, чего у вас никогда не будет.

Я случайно нашла на этот снимок в гостях у старой знакомой, перебирая от нечего делать кипу одинаково безжизненных фотографий, которые она хранила для гостей, с которыми не о чем говорить. И я его просто украдала, зная, что никогда не смогу объяснить его хозяйке свой интерес. Я спрятала снимок в нагрудный карман, и, сгорая от нетерпения остаться с ним наедине, ещё мучительно долго пила чай вприкуску с черствыми сплетнями, а когда, наконец, вырвалась на воздух, то сделала крюк и вынырнула ровно у подножия той самой улицы и расплакалась, не узнав его, сплошь в уродливых буграх от занесенных ранним снегом машин.

Снимок относился к тому периоду, когда я в целях ознакомления с жизнью решила освоить маргинальное общество. Родители были не против и, как минимум, не сократили мои карманные деньги, которых с лихвой хватало на то, чтобы накормить в неплохом кафе пять-шесть моих новых знакомых.

В основном это были ребята из неблагополучных семей,

объединенные общими наклонностями и слабостями и – иногда в буквальном смысле слова – бездомностью. Они ругались, употребляли что-то более-менее легкое и величали друг друга не иначе, как позаимствованными из любимых фильмов кличками.

Мне нравилось приходить в тот уютный тесный закуток, куда они стекались по вечерам с разных концов города. Собирать двух-трёх-четырёх с особенно голодными глазами. Вести в хорошее кафе, где они забирались на диваны с ногами и дразнили официантов. Они меня использовали, конечно, и сперва с опаской относились к даровому угощению, но потом освоились и уже на третьем совместном обеде, не стесняясь, обсуждали при мне свои совершенно одинаковые истории встреч-предательств-расставаний.

С двумя подростками на снимке мы познакомились там же. Звали их Рой и Малютка. Это была самая завидная пара. Целый бесконечный месяц они были непростительно счастливы и верны друг другу. Целый июнь все – и я вместе с ними – провожали завистливыми взглядами их щуплые бесплотные фигурки, выныривавшие то тут, то там из закоулков, выпадавшие из дверей и подъездов, безмятежно проплывавшие мимо, переворачивая всё внутри своим вопиющим, до безобразия безучастным ко всему на свете счастьем.

Июль был невыносимо жарким. Малютка вдруг получила бесценную путёвку в лагерь для таких же бесхозных подростков. Об отказе не могло быть и речи – то был последний

год, когда она подходила по возрасту.

Провожали все, кто мог. Паровоз нетерпеливо скрипел и отдувался. Закрапал дождь, мы сбились притихшей кучкой под навес и курили, пока Рой, влипнув ладонями в стекло вагона, неподвижно стоял напротив тусклого силуэта Малютки, а потом поезд дрогнул, и Рой тронулся, только ноги. Потом пошел, побежал. Мы выбросили недокурные сигареты и ссыпались в метро.

Через неделю все разом узнали, что Малютка изменила, причем с местным, причем старым, лет двадцати пяти. Слово это – «измена» – неизменно всплывало вместе с неуклюжими картинками этой самой измены, и было тошно и странно, что в мире всё по-прежнему, несмотря на такой жуткий катаклизм.

Мы ходили потерянные, не глядя друг другу в глаза. Потом я вовсе перестала приходить на место их сборищ, боясь напороться на волчий, затравленный взгляд Роя, караулившего день и ночь того, кто смог бы объяснить ему самому его горе. Он ничего не говорил, ни о чем не просил и даже не пил. Он просто смотрел остолбеневшими, непонимающими глазами, от чего хотелось бежать.

Ещё через неделю неверная вернулась, и всё вдруг встало на свои места. Рой устроился на хорошую работу – грузчиком – и нашел себе новую девушку, Малютка поступила в колледж и обзавелась маленьким улыбчивым турком, и частенько их видели вчетвером в кафе, мирно попивающими

пиво.

Я сложила снимок вчетверо и подожгла. Корчась в судорогах, он распустился, дёрнулся и стал съёживаться, сморщивая лица Роя и Малютки в злые старческие гримасы.

Это чувство пройдёт, я знаю. Оно исчезнет, как след на песке, стёртый следующей волной. Но я почему-то не хочу с ним расставаться, с этим большим чувством. Оно лежит во мне, отчаянно живое. И непонятно, что с ним делать, и куда его деть. И мне начинает казаться, что я могу понять тех бедовых матерей, что бросают своих новорождённых детей в мусорные баки.

А, может, это просто подкрадывается простуда и самое время звонить маме. Кто знает? В конце концов, на той неделе обещают снег.

Всё повторяется

«Ты споткнулся о слова. Служи жизни и всё упорядочится»

А. де Сент-Экзюпери. Цитадель

Где-то я слышал, что самые лучшие писатели – несчастные. Те, у кого жизнь не заладилась с самого начала и у кого достало таланта и терпения, чтобы бороться с ней словами. Терпения – поскольку проку от них, от слов, никакого. В этом я и сам успел убедиться сполна. Но об этом позже.

Из перечисленного у меня было только терпение. Было и есть – иначе как еще объяснить то, что я сейчас просто сижу и печатаю, хотя по всему должен пить горькую или шататься по улицам.

Талантами я никогда не блистал, а жизнь моя была исключительно счастливой – до последнего времени. Потому и взялся писать. Решил попробовать – другим же помогает. Вдруг и мне поможет, раз уж всё остальное не работает.

Всё повторяется.

Эту фразу она может произносить снова и снова, в ответ на мои вопросы или собственные мысли или просто так.

С женой мы знакомы давно – с самого рождения. Я понял это при первой нашей встрече. Она тоже. Во всяком случае, она так говорила, а я ей всегда верил и верю. И именно поэтому я сейчас схожу с ума – я верю ей, несмотря ни на что.

Путь к нашей встрече был неблизким. Иногда так трудно было поверить в то, что она состоится – эта встреча с моей первой и единственной любовью. Путь был трудным и одиноким, и чтобы преодолеть его, я по слабости искал помощи у других людей. Вернее, у одной только девушки, в память о которой у меня почти ничего не осталось, кроме имени.

Жена была против официальной свадьбы. Ей не нравились мои родственники, моих немногочисленных друзей она не понимала, хотя и те, и другие находили ее приятной. Каждый раз при упоминании о свадьбе её глаза наполнялись слезами, и она говорила: «Они напоминают мне о том, что я ничего о тебе не знаю».

Я не придавал значения этим словам, я просто сделал, как она просила. Мы расписались, пригласив в свидетели двух пойманных у загса пешеходов. Потом поехали кататься на каруселях. Пили квас и ели мороженое. Потом поехали домой и хохотали, жадно, наперегонки угадывая в смешанном шуме летнего вечера в доме с тонкими перегородками вместо стен хаотичное перемещение шкафов, детское кваканье пианино, пьяные стенания под балконом. Пока не заснули, изнуренные счастьем.

Долгое время наша совместная жизнь текла, как неторопливая спокойная река. Без порогов и стремнин. Только в нашей маленькой квартирке я чувствовал себя по-настоящему свободным. Только с ней вообще я узнал, насколько свободным может быть человек, не участвуя для достижения это-

го заветного состояния в постоянной борьбе, не протестуя и не разрушая. Не выкрикивая слова ненависти и обвинения. Просто – сидя в темной кухне у открытого балкона, и глядя на звезды, и слушая, как внизу беснуется ночной город. А рядом сидит маленький человек с большими тёплыми глазами и что-то щебечет, то улыбаясь, то хмурясь, а потом резко умолкает, подвигает стул поближе и прижимается круглой щекой к твоему плечу. Вот так.

Мы всегда были вместе. Хотя многим это не нравилось. Даже мои немногочисленные друзья находили странным, что я не рвусь из дома, почти не участвую в наших и без того редких попойках и даже на выходных остаюсь с ней вдвоём, в нашем доме. Один мой друг как-то намекнул даже (он был довольно-таки пьян тогда), что скоро наша идиллия кончится, что это не любовь, а привычка, что любовь должна гореть и ещё что-то делать, что это скучно, в конце концов. И ещё он сказал, что никто из наших общих знакомых не верит, что наше чувство протянет хотя бы год.

Я не стал с ним ругаться, мы всё так же дружим, но что-то ушло. В основном, с его стороны. Но я недолго переживал. Я вообще не могу долго думать о ком-то или о чем-то кроме неё.

Она вовсе не тихоня. Напротив, наблюдая за ней, я всякий раз удивлялся – радостно, чуть ли не с гордостью – откуда в таком маленьком теле столько энергии. Она ни секунды не сидела на месте. Собирала и рассовывала по знакомым без-

домных животных. Искала пропавших без вести. Ходила на курсы автошколы, китайского языка, йоги, шитья и ещё чего-то. Давала уроки всего на свете. Но при этом очевидно не находила общего языка с людьми, хотя умела расположить к себе любого. Однажды, глядя, как она лавирует в группе своих знакомых, осторожно, по касательной огибая их, словно посторонние предметы, случайно возникшие на ее пути, я вдруг отчётливо понял, что все эти люди были для неё не более чем живыми декорациями.

Все, кроме меня. Я был для неё живым. Я и для себя стал живым только после того, как она появилась в моей жизни. Мы могли говорить об этом часами. Мы могли думать об этом часами, не произнося ни звука. Мы были неразлучны. Я всегда всё ей рассказывал. С самой первой нашей встречи вдруг начал рассказывать ей про всё подряд: про детство, которого почти не помнил, про ссоры родителей, про смерть одноклассницы, с которой мы сидели за одной партой, даже про то, чего никогда никому не рассказывал, да и не вспомнил бы нарочно. Она жадно слушала и просила ещё. И я говорил, а она засыпала у меня на плече, тёплая и успокоенная.

Ещё мы сразу стали мечтать о детях и большом доме, чего оба, как выяснилось позже, всю жизнь сторонились и, в глубине души, опасались, думая, что дети и большой дом – это что-то ненужное, скучное и обременительное. Вроде общественной повинности. А тут стали мечтать. Тогда же я понял, что для воплощения нашей мечты понадобятся день-

ги. И позволил работе понемногу красть наше время. Но мы справлялись. Мы придумывали уловки и ставили силки для времени – и были счастливы.

Конечно, я рассказал ей о той девушке. Нет, не конечно, а хорошенько всё взвесив, оценив опасность возможных последствий. У нас был уговор – никогда не обманывать друг друга, даже «во благо» – так она говорила. И я рассказал. Она рассмеялась и сказала: «Это нормально. Что здесь такого?». Я ещё больше покраснел, но не стал прижимать её к себе, не хотел отпустить её взгляд. Боялся. Она повторила: «Это нормально».

Всё в этой жизни повторяется. С этой фразы всё и началось.

Однажды я пришёл с работы, и она встретила меня с сухими опухшими глазами. Мы стояли в тёмной прихожей, и я слышал её частое дыхание, и взгляд её был жестким и пристальным.

Я был парализован. Чувствовал, что что-то произошло, но боялся сделать шаг, чтобы не дать беде воли. Пока мы стояли вот так, упершись друг в друга взглядом, окончательно стемнело, и, решившись, я нашарил выключатель и чужим, хриплым голосом спросил: «Мальш?».

Она продолжала смотреть на меня сухими опухшими глазами, а потом сказала – тоже чужим, хриплым голосом: «Всё в этой жизни повторяется».

Я ждал, зная, что она закончит фразу. Не все это пони-

мали, думали, что она из тех, что любят напустить загадочность, бросая обрывки фраз и смолкая в самом неожиданном месте. На самом деле, нужно было просто выждать, дать нужным словам вызреть в её голове.

– Всё повторяется. Я подумала... знаешь, я подумала... я такая же, как она.

Я знал, о ком она, но решил уточнить, на что-то надеясь:

– Как кто, милая?

– Как твоя девушка.

Так начался этот кошмар. В тот вечер мы больше не возвращались к этому разговору. Она шутила, смеялась и дулась, мы кромсали следующий день, прикидывая так и этак, как выкроить из казавшейся непрерывной цепи деловых встреч и переговоров общую минутку. Но я знал, что что-то изменилось.

Каждый день я приезжал к нам домой на обед, и мы ехали к озеру с высоким фонтаном посередине. Ей всегда нравилось это место. Фонтан бил одинокой мощной струёй прямо в небо, и лёгкий ветер доносил до нас капли теплой воды, что приводило её в совершенно детский восторг. Мы что-то ели, и я отвозил её в какие-то места, где её ждали другие люди, а сам, счастливый, возвращался к делам, весь в ожидании нашей вечерней встречи, обдумывая по дороге, что я расскажу, вернувшись домой, когда она обернётся вокруг меня тёплой змейкой и положит голову мне на плечо, тихо посапывая в шею.

Как-то раз я, как обычно, собирался ехать к ней, но она позвонила и сказала, что сама будет ждать меня на озере.

Подъезжая к нашему месту, я вдруг почувствовал тревогу, но сразу приписал её нашей предстоящей встрече – за те несколько лет, что мы жили вместе, я так и не привык к тому, что она – моя. И всегда волновался, завидев её силуэт. Как в первый раз. Как сейчас.

Сердце билось, как сумасшедшее. Она надела моё любимое платье. Я заметил её издалека. С озера дул довольно сильный ветер, и она то и дело заводила непослушные пряди за уши, нетерпеливо переступая с ноги на ногу и сердито косясь на прохожих. Увидев меня, она заулыбалась и замахала руками. Такая кроха.

Мы взялись за руки и пошли по аллее, разговаривая о всякой всячине. А потом она спросила: «Вы здесь гуляли, правда?».

Я остолебенел. Конечно, я понял, о ком она говорила, но дело было даже не в этом. Я вдруг вспомнил, что мы действительно гуляли здесь с той девушкой.

И, втайне от самого себя, стал вспоминать дальше. Я отвез её домой и вернулся на работу. Но и там вспоминал. Шаг за шагом я отходил в глубины памяти, к тому смутному времени юношеских метаний, неприкаянного студенчества, когда я познакомился с этой сутулой крупной девушкой, отношения с которой, непонятные ни мне, ни ей, болезненные и тоскливые, были лишенным лирики сопровожде-

нием, жидким наполнением моих будней, скрашивали одиночество, которое я по долгу возраста, испытывал вместе со всеми своими сверстниками.

И хуже всего было то, что воспоминания эти изо всех сил поощряла во мне моя жена.

Каждый вечер, укладываясь спать, она напоминала мне об этой моей студенческой привязанности, словно находя в этом особое, непостижимое для меня удовольствие. В какой-то момент я понял, что это вошло у неё в привычку. Вернее, у нас. Она говорила: «Наверное, вы...» или «А, правда, она...» – и я уже не мог остановить какой-то механизм, запущенный её словами. И когда она уже сворачивалась теплой змейкой у меня на груди, я еще долго-долго спускался всё ниже по лестнице памяти, всё настойчивее устремляясь к самому дну, к началу, словно это было каким-то испытанием, состязанием с самим собой, победа в котором снова вернула бы нам наше счастье, недавно бьющее одинокой мощной струёй, как тот фонтан.

Иногда, уже глубокой ночью, она вдруг просыпалась и совершенно твёрдым голосом говорила: «Ты, наверное, был к ней несправедлив?». Но, прежде чем я успевал что-то сообразить, она снова оплетала меня своим узким телом, и я слышал ровное дыхание человека, спящего крепким сном, но уже не мог заснуть до утра, откапывая из утрамбованных временем пластов воспоминаний свои поступки и слова и пытаясь угадать в их посеревших размытых ликах, была ли

она права. Был ли я несправедлив?

Постепенно её расспросы утратили легкость и шутливость, стали настойчивыми, навязчивыми.

– Я видела ваши фотографии. Она очень... интересная. Очень интересное лицо. И она умеет интересно его поворачивать.

– Умела. Милая, зачем тебе все это?

– Как зачем? – этот вопрос, казалось, поставил её в тупик.

– Подумай, это было пять лет назад – целую вечность! Я уже почти ничего не помню, да и помнить не хочу!

– А она?

– Что она, малыш?

– Она помнит всё, я уверена. Она любила тебя по-настоящему. И теперь любит. Она настоящая женщина.

– Почему ты так уверена?

– Я читала вашу переписку.

– Где?

– В интернете. Ты был всем, что у неё было.

Я вспомнил, что дал ей все пароли от своих соцсетей. И покраснел. Что она могла там вычитать? Чего не напишешь более-менее знакомому человеку в минуты слабости, особенно, когда тебе восемнадцать и весь мир кажется враждебным и жестоким, а ты сам – таким одиноким и непонятым?

– Малыш...

– Не думай, что я ревную. Я всё понимаю. Но... но мне бы хотелось с ней встретиться. Не перебивай – не перебивай

меня! Она сильная, гораздо сильнее меня. Она все всегда делала сама, а я тряпка. Она тебе больше подходит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.